

# И В ЖИЗНИ, И В ТРУДЕ

Литературная газета № 38  
Россия 21 сент. 1973 г.

Из воспоминаний

о К. И. Чуковском

**О**БЕИХ проглоту! С этих угрожающих слов началось мое знакомство с Корнеем Ивановичем. Собственно то знакомство началось, конечно, раньше. Сначала я, как говорится, «проглотила Крокодила». «Проглотила», когда мне было уже лет двенадцать. И остолбенела. Такая книжка мне никогда в руки не попадалась. О, до чего же она не походила на розово-голубые, раззолоченные книжки моего детства, слюняво и малоубедительно поучавшие «быть добренькими!» Конечно, я сразу запомнила ее наизусть. Но кто же этот человек, написавший такую удивительную книжку? Каков этот автор со странным, таким не писательским именем — Корней? Есть ли у него дети? Все, все это было мне интересно. Но я решительно ничего о нем не знала, а спросить было не у кого. Ну, а что веселый — это уж наверняка! Невеселый человек не мог бы написать «Крокодила».

Позже я стала читать Оскара Уайльда. И оказалось, что интересное предисловие к сочинениям этого писателя написал тот же неведомый Корней Чуковский, и сказки Уайльда перевел он же. Но в книжке о нем ничего не было сказано. И для меня он оставался все тем же таинственным, но крепко запомнившимся Корнеем Чуковским.

А еще позже случилось так, что два последних класса школы я кончала в бывшем Тенишевском училище, в Петрограде. И оказалось, что в Тенишевском учатся трое детей Корнея Чуковского. Старший сын Николай — на класс старше меня. Через два года после окончания школы я вышла за него замуж.

Но в школьные годы самого Корнея Чуковского мне не приходилось встречать. Мои одноклассники мне наперебой рассказывали о нем — Чуковский нередко бывал в училище, и они хорошо знали его. Несколько лет назад он написал пьесу и поставил ее в училище. Все трое его детей играли в ней. Коля Чуковский часто звал к себе и моих товарищей, и меня. Товарищи ходили, а я все еще робела. Ведь его отец — Корней Чуковский!

Однажды Коля Чуковский сказал, что отец его читает в зале Тенишевского училища свою новую сказку и он хочет меня и мою подругу познакомиться с ним.

Помню: большой пустоватый амфитеатр зала, слабо освещенный. На эстраду уверенно вышел — пожалуй, даже выбежал — очень высокий, тонкий, бесхребетногнувшийся человек в старом английском макинтоше, с довольно-таки помятой шляпой на голове. И, выразительно жестикულიруя, звонко и певуче прочитал «Тараканища».

А потом помню, как ждали мы его с Колей, который очень волновался в малень-



Корней ЧУКОВСКИЙ. Портрет работы И. Бродского (1913 г.)

ком коридорчике перед артистической. Корней Ивановича обступили, и он медленно-медленно двигался, окруженный толпой, на голову выше всех, своим звонким голосом покрывая остальные голоса. Длинные руки его то и дело взлетали над спутниками.

— Папа, — осторожно остановил его Коля. — Вот Маринка, а вот...

— Обеих проглоту! — Он рассмеялся, захватил четыре наши руки в свои огромные мягкие ладони, потряс ими — и двинулся дальше, не обращая на нас, оробевших, никакого внимания.

Так состоялась моя первая встреча с Корнеем Ивановичем. Было это в 1923 году.

Все чаще и чаще встречалась я с Корнеем Ивановичем. Но продолжала по-прежнему робеть в его присутствии. Так необычно держал он себя. Так непохоже на людей его возраста и положения. То вдруг обнимет и прижмет к себе — и сердце зайдет у тебя от счастья. Была в нем какая-то магическая сила, которая сразу притягивала к нему людей. А на завтра — и не взглянет. И ты будешь мучиться, перебирая свои мнимые прегрешения. То потащит гулять и будет необыкновенно интересно рассказывать о своей жизни в Англии, о людях, которых ему приходилось встречать. А потом будет хмуриться и глядеть исподлобья. Весь изменчивый, противоречивый в отношениях с людьми. Не скоро я поняла, что в переменах его настроения повинны тысячи причин. И в первую очередь — бессонница.

Работал он много, усидчиво, яростно, не щадя себя. Вставал спозаранку и садился за стол, пока в доме все спали. В старых-престарых

коричневых штанах, в изношенном пиджачке на плечах трудился он по утрам. А то еще наденет на себя старое пальто без пуговиц и поднимет воротник, чтобы прикроет голую шею. Ему было уютно в обношенной одежде.

Все домашние вставали бесшумно, чтобы не помешать Корнею Ивановичу. Шум во время работы приводил его в бешенство.

— Негодяи! — кричал он, выскакивая из кабинета и запахивая пальто. — Не понимаете, что я работаю? А вы шумите!

И с грохотом захлопывал за собой дверь, грозя кула-

разговор должен быть таким, чтобы из него можно было извлечь какие-либо познания. И отнюдь не на бытовые темы. Много раз я замечала: когда он делает круглые глаза и кивает головой сочувственно — значит, не хочет обидеть собеседника, а самому ничуть не интересно. А когда, прищурившись, поглядывает исподлобья и строго — значит, разговор заинтересовал его. Ненавидел дилетанство, полужнаительство. Отточенное мастерство всегда восхищало его в любой работе, будь то ремесло или искусство. Потому он так долго возился со своими рукописями, открытками, тщательно проверяя каждый шаг. Потому от издания к изданию так скрупулезно правил свои книги.

Его литературное хозяйство было огромным. Одному справиться не под силу. Всегда у него были помощники. Они бегали в библиотеку за материалами, сверяли тексты, возились с корректурами, занимались письмами читателей. Частенько приходилось выполнять и кожаные домашние поручения. А чтобы усыпить Корнея Ивановича после бессонной ночи, нередко нужно было и почтитать ему днем. Огромная личность его как бы поглощала помощника — всего целиком. Не все могли это выдержать. И помощники часто сменялись.

Он всегда пытался втянуть подраставших детей в свою работу. Исподволь старался увлечь их, рассказывал о своих планах, о поисках материалов, об открытиях, советовался с ними.

— Дружочек мой, — вкрадчиво и певуче говорил он дочери, неожиданно протягивая ей книжку. — Мне кажется, тебе это будет интересно. Пожалуйста, прочти.

Все было обдумано заранее: найдена книжка, способная заинтересовать девочку. А в книжке — нужное ему, Корнею Ивановичу, для работы. Дочка увлечется, призадумается и мало-помалу станет помогать отцу.

Пытался привлечь детей к переводам с английского. Внушал, чтобы к переводам относились не ремесленнически, а талантливо старались бы воссоздать подлинник. Малейшая небрежность приводила его в негодование. Взять словарь! И не один! Поискать, подумать, перебрать десятки слов, а найти адекватное. Спросить у него. Он подсажмет с радостью. Английский язык знал в совершенстве и согласен был кого угодно учить английскому. Всю жизнь до старости обучал своих домашних. А в старости, помню, рвался учить маленького сына сторожа.

Но из его мечтаний работать вместе с детьми как-то ничего не получилось. Удалось заразить детей своей любовью к литературе, но каждый пошел своим путем.

Решительно всех, общавшихся с ним, он втягивал в литературную работу.

— Отчего вы не пишете? — говорил он в ответ на чей-нибудь поучительный рассказ. — Так интересно можно было бы об этом написать! Эх, вот бы я...

И, легко вскочив, начинал рыться на книжной полке: искал книжку по данной теме.

А когда я узнала его, мысли его были заняты главным образом Некрасовым. Он разыскивал новые материалы, писал о Панасовой, о Некрасове, воскрешая их полузабытые отношения.

Ему был сорок один год. Он был молод, стремителен, жадно поглощал впечатления окружающей жизни, с неумным интересом бросался туда-сюда, притягивал к себе со многими, но не имел ни одного настоящего друга. Интересовался детьми, наблюдал за ними, ухаживал за женщинами — тонкий, гибкий, обаятельный, с длинными руками, которыми выразительно, по-актерски, играл. Умные хитроватые глаза смотрели чуть исподлобья, черные, уже с проседью волосы по-мальчишески падали на лоб. Он был огромен во всем. Начиная с роста. Огромный и всеобъемлющий был интерес к жизни. Огромная неуемная любознательность, огромная работоспособность, огромная деятельность в литературе. Слово Гулливер, бродил он между людьми, приглядываясь к ним. Все жесты, все поступки его были огромны. Пустяки не интересовали его. Если давал деньги, никогда не ограничивался мелочью. Правда, бывало и так: поддавшись первому им-

Помню, по поводу этого чтения Коля сочинил стишки:

Говорит Корней Иванов:  
— Почтайт мне, Боба, на ночь.

Боба тоже старичек  
Не читает без очек.

Всегда мне казалось, что жадность Корнея Ивановича к литературе не имеет предела, что ему никогда не хватает времени прочитать, узнать и написать о том, что его интересует. И поделиться своими впечатлениями с окружающими. Часто выходил он к столу с книгой в руках и вслух начинал читать отсюда места, которые поразили его. Сыни и дочь вступали в рассуждения, и разговор снова завязывался вокруг литературы. Все трое были ей самозабвенно преданы. Пустую болтовню Корней Иванович не выносил:

пульсу, даст сторяча, а потом начинает ворчать: «Ах, зачем дал?» Помогал человеку устроиться — делал это по самым большим для того возможностям. Хвалил — безусловно, ругал — не щадя. Увлекался — страстно и горячо, охладевал — полностью. Мелочность не свойственна была его натуре. Никогда не считал денег; или они есть у него, или их нет. Помню, как сердилась Марья Борисовна за то, что из всех карманов его брюк и пиджака так и вылетают деньги, когда чистят его костюм. А при этом он бережно отрывал чистый листок бумаги от полученного письма, заболитво гасил забытый кем-нибудь свет. Но, пожалуй, это было скорей признаком щепетильной аккуратности — или ярким контрастом с прочими проявлениями его природы.

А любил он по-настоящему одну литературу. Всю жизнь вел дневник, как ни с кем, делясь с тетрадкой впечатлениями и мыслями. Жадно набрасывался на каждого нового человека, проводил с ним много времени, пока не раскусывал до конца. И часто потом безжалостно отбрасывал от себя. Казалось: вот наконец нашел он друга! Единомыслие — полно! И внезапно новый знакомец незаметно для себя совершает непростительную ошибку: то ли в разговоре о литературе абсолютный слух Корнея Ивановича уловил какую-то фальшивую нотку, то ли, упоенный дружбой, новый друг несколько фамильярно повел себя с Корнеем Ивановичем. И — все. Друг изгнан. И навсегда. А там — новое знакомство, и все начиналось сначала. Конечно, длительность дружбы зависела от того, насколько интересна была ему натура нового знакомого. Нельзя было ухватить Корнея Ивановича и вертеть им. Он ускользал немедленно. Всякий деспотизм был ему ненавистен. Можно было только приладиться к нему, напряженно стараясь угадать его чувства, его настроения. О нет, он не был святым — отнюдь! Правда, к старости он стал терпимее.

Но не было для него большей бескорыстной радости, чем открыть новый талант, особенно литературный. Он долго, шумно носился с ним, прилагая все усилия, чтобы дать ему ход. И искренне, от всей души радовался успеху. Вообще талантливость в людях ценил превыше всего. А в душу свою, в свой отгороженный от всех мир не выпускал никого. Одинокая душа гиганта, ничуть не тяготившаяся своим одиночеством. Он даже и не подозревал, как может облегчить душевное бремя близкий до конца человек. Свое бремя он всю жизнь тащил один. А сколько чужих радостей, горестей, сомнений, упований вмещалось в его душе! И всем хватало места.

Конечно, не тогда, не при первом знакомстве, а только с годами я разгадала его.

Он был демократичен и не брезглив к людям, к нищете. Помню, в начале двадцатых годов среди дня в квартире вдруг молча появлялся «лысенский» — так прозвали его в семье. Да, вероятно, никто и не знал его имени. Не знали, откуда его взял Корней Иванович. Опустившийся интеллигент, тихий и подозрительно благообразный, «лысенский» продавал бумажные цветы на Мальцевском рынке. Он приходил, шел в кабинет Корнея Ивановича, ложился на его кровать и, выславшись, уходил на рынок со своими цветами. Потом исчез — то ли был изгнан за какие-то провинности, то ли сам ушел. Но и после, встречаясь на рынке, вежливо кланялся.

Известны хлопоты Корнея Ивановича за писательницу Лидию Чарскую — заболитво, внимательные. А за несколько лет до этого он беспощадно разгромил ее в своей статье.

Хлопотал за всех, горячо откликнулся на просьбы, — разумеется, будучи сам уверен, что просьбы справедливы. Все это он делал охотно. Бежал, добивался, звонил по телефону, писал письма. И никогда ни единой просьбы не забывал.

Несмотря на неустанную разностороннюю деятельность, Корней Иванович зорко следил за жизнью своих уже взрослых детей. Все отношения между отцом и детьми отлично отражены в сохранившейся переписке. Казалось, что он мало обращает на них внимания, поглощенный целиком своими делами. Ах нет! Читая его письма, удивляешься прочной связи Корнея Ивановича с детьми. Деликатно он старается подладиться под характер каждого. Посоветовать, помочь, направить. Уже в старости он как-то сказал мне:

— Я очень любил своих детей. И очень много возился с ними.

И взглянул исподлобья и строго.

Любил — но был суров. В семье вообще не признавалось родственных нежностей. Никаких поцелуев. Кивок головой, рукопожатие — и все. С чужими Корней Иванович обнимался и целовался напрадалу, особенно с женщинами, — и приводил их в улоение. Не праздновались дни рождения детей, кроме рождения младшей, Мурочки. Праздновалось только 1 апреля — день рождения Корнея Ивановича. И совсем по-детски он ждал его и радовался подаркам. Весь уклад дома был подчинен работе хозяина и, главное, — его сну. (В старости этот уклад несколько изменился: гости наводнили дом. Но сон охранялся по-прежнему.) На помощь детям приходил только в очень трудную минуту. Боритесь сами с жизнью, с ее обстоятельствами! Валовства — никакого. Но, оглядываясь назад, я благодарна ему за такое суровое отношение. И меня, и колая Корнеевича он выучил бесстрашно встречаться с жизнью лицом к лицу.

Сорок пять лет довелось мне прожить в общении с ним. А вот ощущение его «всеобщества» никогда не оставляло меня. Случилась настоящая беда — всегда в глубине души было сознание: есть Корней Иванович... Вот кто тебя укроет от беды своими большими мягкими руками.

Когда Корней Иванович понял, что мы с Колей решили пожениться, он написал сыну письмо. Была в семье такая традиция: о важном, волнующем отец никогда не говорил с детьми, а всегда писал письма. Вероятно, ему легче было высказывать, не горячась, свою мысль на бумаге. В письме он высказывал сыну те пожелания, которые ему самому жизнь не позволила осуществить:

«...Тебе нужно читать, путешествовать, повиноваться своему бытию к людям, и странам, культурам, вещам. Это нужно тебе именно сейчас, потому что только в твои годы определяется, творится человек. Оттого я и говорю: ради своего будущего, ради Марины, ради своих стихов — уезжай до осени. один, побродить, пошататься, увидеть новых людей... Жениться, ты сейчас же будешь принужден думать о скучных вещах, о чепейках и тряпках — и тогда прощай поэт Николай Чуковский. (Николай Корнеевич начинал как поэт. — М. Ч.)»

В этом я твердо убежден. Я уверен, что если бы я так рано не попал в плен копейки и тряпок, из меня, конечно, вышел бы очень хороший писатель: я много занимался филологией, жадно учился, а тогда фельетонистом, по пятачку за строчку, очутился в обществе К. и О... Если ты в этот год оплошлеешь, сузишься, обнищаешь душой — ты никогда, никогда не наверстаешь утраченного. 20—21 год — решающие в жизни человека... Передаю мной все время стоит моя судьба: с величайшим трудом, самоучка, из нищенской семьи, вырвался я в Лондон — где столько книг, вещей, музеев, людей и все проморгал, ничего не заметил, так как со мной была любимая женщина... Я не вижу ничего противоестественного в том, что жених и невеста, готовясь к долгой совместной жизни, разлучаются на 3—4 месяца, чтобы запастись духовным капиталом... Женись, от всей души желаю тебе сча-

стья, но помни, дорогой, об опасности, о которой я пишу тебе в этом письме: об опасности незаметного записывания души. Ты верным инстинктом всегда выбирал себе хороших друзей — Познера, Арштама, Леню Месса, Тихонова, — но тебе нужно выбиться из старого круга и найти новых. (О. постоянно совсем не свойственно отцу! — М. Ч.) Этого я ждал от твоей кавказской поездки, т. к. в этом году в Крыму, на Кавказе будет вся московская талантливейшая богема. Упустить этот случай — страшно. Ведь в будущем году у тебя, вернее всего, будет ребенок, а ребенок для тебя, в твои годы, — могила. Если же ты соберешь столько денег, что поедешь на Кавказ с женой, то там вы будете так поглощены друг другом, — что самые драгоценные люди пройдут мимо вас, как в тумане.

Теперь второй вопрос: о деньгах. Признаюсь: я ждал, что наступит минута, когда ты будешь помогать семье, даешь возможность отдохнуть и мне, и маме. (Твоя мама заслужила отдых; ты и не подозреваешь, как горька и мучительна была ее жизнь: она, ради семьи, закопала свою молодость в Финляндии, нигде не была, ничего не видела, думала — только о вас.) Теперь ты уходишь от нас — и, конечно, сам понимаешь, что при всем желании я, даже на первых порах, не могу снабдить тебя деньгами.

Вот и все. Я не говорю НЕТ, но в моем ДА есть несколько сомнений и боязней, которые я счел своим долгом не скрыть от тебя. Я верю и в тебя, и в твои чувства. Я верю, что та связь, которая есть у нас с тобой (и у тебя с мамой), с годами не порвется, но окрепнет...»

И мягкое, и жесткое письмо... Но не так легко было сбить сына с его намерения. Мы поженились. И очень трудно нам жилось первые годы.

Но тогда письмо сильно огорчило нас. А с годами мы поняли, как прав был Корней Иванович: за свои поступки человек должен нести ответственность. Своих детей он твердо решил выучить этому. До конца жизни Корней Иванович, лукаво посмеиваясь, вспоминал письмо: «А я ведь не позволял им жениться...»

Родилась у нас дочка. Сорокатрехлетний дед должен был прийти и взглянуть на нее. Втайне я, конечно, волновалась: мне-то ребенок казался лучше всех детей, а вот каким он покажется деду? Была ранняя осень. В нетерпении я пошла к нему навстречу — жили мы близко друг от друга. Что такое? Прохожие оборачиваются, улыбаются, останавливаются поглядеть. И вижу: идет длинный Корней Иванович. Кто-то — не помню кто, — оборванный им, глядя на него снизу вверх, шагает рядом. А на поводке Корней Иванович держит Мурочку, свою пятилетнюю младшую дочку. Мурочка — собака. Игра — для нее. Она лает, она вырывается, Корней Иванович громко командует ею, его звонкий голос разносится по всей улице.

— Джек! К ногам!

Мурочка в восторге подчиняется всем его приказаниям. Казалось бы, какое впечатление вести себя на улице подобным образом! Но как все было разгранено! Как изящно, как артистично, с каким подлинным актерским чутьем! Слово смотришь уличное представление с отличным профессиональным актером.

А может быть, в этой сцене Корней Иванович прятал свое волнение?..

На пыточках подошел он к кровати, в которой безмятежно чмокало ротиком крохотное существо, сел на стул рядом. И долго-долго, как-то дольше положенного в таких случаях времени, смотрел на младенца. Потом, ни на кого не глядя:

— Вылитый Коленка...

И умолк.

А через минуту:

— Джек! Домой!

И Мурочка лаяла в восторге.

В Ленинграде дом, где жили Чуковские, выходил на Спасско-Преображенскую площадь. Собор, стоявший среди площади, окружал крошеч-

ный садик. Садик огораживали тяжелые цепи, прикрепленные к старинным пушкам. Теперь этой ограды давно нет. В садик вошла гулять детей руководительница детской группы, той, которую посещала Мурочка. Садик кишмя кишел детьми с няньками и матерями. Внезапно в эту идиллическую обстановку врвался звонкий голос Корнея Ивановича:

— Му-ра!

Это он шел дома. Вернее, отмахивал огромными шагами огромные концы, и непрерывный спутник его, подхваченный где-то по дороге, едва поспевал за ним. Шагал, ритмически раскачиваясь из стороны в сторону, и певучий голос его был слышен издали.

Вся группа с визгом и криком бросалась к нему. Подтягивались поближе и посторонние дети. И начинались игры, беготня, соревнования. Нечего и говорить, с каким нетерпением ждали дети появления Корнея Ивановича.

Через много лет, гуляя с ним по Ленинграду, в один из его приездов из Москвы, мы дошли до той же Спасско-Преображенской площади. Вот маленький скверик вокруг собора. Вот дом, где когда-то жили Чуковские. Вот их квартира, балкончик. Таинственно блестя оконные стекла, скрывая чужую жизнь.

— Екает у вас сердце? — спросила я.

— Нисколько! — сердито ответил он. — У меня нет собачьих чувств...

Гуляя Корней Иванович почти всегда со спутниками, редко один. То брал кого-нибудь из детей, чаще всего Бобу. То неожиданно возникал в квартире знакомых и звал с собой на прогулку. Часто спутниками его были товарищи детей по школе. Так же неожиданно уходил в гости, иной раз подхватив под мышку знаменитую «Чукоккалу».

В те годы — середина и конец двадцатых — я что-то не припомню ни больших приемов, ни гостей. Изредка приходили старые друзья еще по Куоккале — Редько, Т. А. Богданович, вдова редактора журнала «Мир божий». Вспоминатели Куоккалу, Репина. Корней Иванович, размягченный, обнимал и целовал дам, по-актерски говорил преувеличенные комплименты. Но ни тени обывательщины и мешанства хозяин не впускал в свой дом. Не было ни карт, ни вина, ни пошлой застольной болтовни. Все разговоры подчинялись одному: литературе и искусству. Вернее, всем искусствам, кроме музыки. В этой семье к музыке были глухи все. Много раз слышала я от Корнея Ивановича рассказ о том, как в Куоккале к нему пришел в гости Шалапин. «Надеюсь, вы не будете петь?» — было первое, что спросил хозяин у знаменитого певца.

Ничто, никакие беды не могли умерить его жадности и интереса к жизни. Люди, их отношения — вот что неизменно и прежде всего интересовало Корнея Ивановича. Появлялась в доме новая домработница — одним махом он очаровывал ее. А покорив, начинал выспрашивать. Каков же этот новый человек, встретившийся ему? Если оказывалось, — правда, не часто, — что новая домработница любит чтение, радостно заваливал ее книгами. Люди легко и свободно раскрывались перед ним. И — удивительно — всегда обращались к нему лучшей стороной. Он был редкостью участливым собеседником. Иногда — просто из любви к людям.

Только в старости стал он «оглядываться назад». Раньше — никогда. Если оглядывался — всегда с юмором.

Его не тянули к себе ни смерть, ни тлен, ни размышления о потусторонней жизни. Вероятно, все эти вопросы он решил для себя раз и навсегда — и никогда к ним не возвращался. Только — жить и работать!